

Ионычева тропа

Сам видишь: я еще не больно остарел. Никто из нашей бригады не пожалуется, что по работе от молодых отстаю. Ну, все-таки старую жизнь не понаслышке знаю, не из книжек про нее вычитал, сам испытал. На владельческой фабрике не один год работал. Перед призывом у прокатного стана уже стоял. Настоящий, значит, рабочий, не подсобник какой. В старой армии до унтер-офицера на младшем окладе дослужился. Что еще надо? Самый, выходит, старинный человек, если от теперешнего считать. Молодые любопытствуют, спрашивают меня о том, о другом: как оно было? Мне, понятно, не жаль рассказать. Язык не купленный и надсады не знает. Говорю им по чести, как помню, а не понимают с короткого слова. О всяком пустяке им надо без пропуска говорить, вроде того, как раньше нам старики про давние заводские дела рассказывали. В том только разница, что старики в случае и тайную силу подтягивали себе на подмогу: она, дескать, сделала, либо научила, либо убрала с дороги. Нам, известно, тайная сила — не помощница: никто ей не поверит. На одно надежда: так рассказать, чтоб, как говорится, всякая пуговичка на виду была.

Подумаешь, так оно и правильно. Годов хоть немного от старого житья прошло, да густые они, эти годы. Ох, густые! Иной один, поди, за десяток ответит, а их недавно уж тридцать один отсчитали. Старое-то, в котором ты еще сам жил, вовсе далеко отодвинулось. Порой вспомнишь что, так сам посомневаешься: неужели так было? Не мудрено, что молодой, который старого не видел, не все о нем понимает, а когда и не верит. Вот я и стал по порядку сказывать, чтоб, значит, все до точки. Сперва сбивался, конечно, на скорый разговор, так вопросами, как тыном, загородят, еле выберешься. А теперь понавык. В самый тот день, как путевку сюда, в дом отдыха, получить, рассказывал об одном оружейнике, так ничего, сразу будто поняли, вопросами не зноздили. Да вот лучше послушай. Все едино, до обеда не больше как с полчаса осталось. Что в них, в тридцать-то минуток, сделаешь! А это, может, тебе и пригодится.

Случилось это в гражданскую войну. Тогда оно нам маленько забавным показалось, а теперь, задним числом, по-другому понимаешь. Ну, да что забегать. Сам, поди увидишь, куда тропа выведет.

В нашем заводе, накосых от родительского дома, жил токарь. Забыл его фамилию. Не то Потеряев, не то Потопаев. У нас, видишь, такие прозванья по заводу в обычае. Потеряевы, Полетаевы, Полежаевы, Подшибаевы,

Потопаевы, Потоскуевы — они и путаются в памяти. Звали этого токаря всегда по отчеству — Ионыч, а малолетки — дедушка Ионыч. И до того это врезалось, что и семейных так же кликали: Ионычева жена, Ионычевы дочери, Ионычевы зятевья. Тогда уж он пожилой был, своих внуков имел, только другой фамилии, потому как сыновей не было, а одни дочери. С малой-то, Варюткой, я перед призывом в переглядки играл, сватать собирался, да тятя покойный не допустил.

— Не дури-ка, — говорит, — не придумывай, чего не надо. Себе в солдатах лишнее беспокойство наживешь, и ей в солдатках горе мыкать придется. Сходишь в военную, тогда и женись. Останется, поди, невеста и на твою долю.

Послушался я родителя, да и с Варей мы уговорились, что подождет она. Только моя военная надолго затянулась. Чуть не полных тринадцать годиков с винтовкой не расставался. Когда вернулся с гражданской, так у Варвары ребята уж в школе учились. Да что об этом вспоминать, коли речь не о моей судьбе, а об Ионыче!

По своему делу он считался в первостатейных мастерах и зарабатывал против других подходяще. Ходил чистенько. Бороды не носил, зато усы были на редкость богатые, с большим навесом, а брови густые, с вискирями посредине. Кто в первый раз увидит, сразу подумает: старого характера человек... В житье был аккуратный. Даже по самым большим праздникам никто его пьяным не видал. Табачишко только жег нещадно. Как ни увидишь, всегда у него трубка в зубах. В домашнее хозяйство свое не вникал. Жена, конечно, огородишко вела, корову держала, а он к этому безо внимания. Сено и дрова у них всегда с купли. Другие, кто работал в механической, принимали на дому разную мелкую работу по слесарной либо токарной части, а Ионыч наотрез отказывался:

— Надоело мне это и в механической.

А сам, между прочим, без дела не сидел. Как придет с работы, поест, запалит свою трубочку и сейчас же к станку. Был у него простенький, вроде тех, с каким точильщики ходят. Колодка тоже с тисками да наковаленкой стояла, и инструмент в полном наборе. Что Ионыч целыми днями делал, — этого не знали. Многие любопытствовали, да он либо отмалчивался, либо оттакивался: так, малое дело. Через семейных тоже не узнаешь, потому одни женщины, а они, по старому положению, никогда к техническому делу не касались. Один раз только это выглянуло маленько. Сделал Ионыч своему внучонку игрушку, что не то что маленькие, а и большие со всей улицы ходили ее поглядеть. Мне

тоже случилось ее видеть. Верно, игрушка занятная. Таких и по нынешнему времени еще не делают, либо мне видеть не доводилось.

Сидит будто небольшой жучок, и крылышки сложены. Тонко сделан. Не отличишь от живого. Никакой кнопки либо завода не видно, а нажми на спинку — жучок выскользнет у тебя из-под пальца, зажужжит, расправит крылышками и полетит. Не больше, как с поларшина, а все-таки полетит.

Заказчики, которым было дело до Ионыча, корили его потом за эту игрушку:

— На ребячью забаву, так у тебя досуг есть, а когда по делу просишь, так нос на сторону! И денег тебе не надо. Лишние, видно?

— А это, — отвечает, — по-разному считают: одному рубль дороже всего, другому — выдумка. Нам с тобой и перекоряться не о чем. Рубль при тебе, выдумка при мне. Оба при своих — о чем говорить?

— Мудришь ты, Ионыч! Как смолоду чудачил, так и по старости выкомариваешь. Пора бы и честь знать!

— Что поделаешь! Не чугун — в переплав не пустишь. Такой уж вышел. Не обессудь!

Про чудачества Ионыча так рассказывали.

Смолоду, как он уж хорошим токарем стал, придумал идти, на какой-то Абаканский завод. Далеко где-то. Не то в Томской, не то в Красноярской губернии по старому счету. Железной дороги в Сибирь тогда и в помине не было. В этакую даль приходилось по тракту пробираться. Дело не шуточное. Домашние, да и те, кто по работе рядом с Ионычем стояли, давай отговаривать. Отец даже грозил:

— Прокляну! Наследства лишу!

Ионыч уперся. Говорит отцу:

— Воля твоя. А наследства как меня лишить, коли оно у меня в руках?

Так и не послушался, ушел. Годов через пять воротился и опять в механическую поступил. Его спрашивают насчет Абакана: как там да что? Скупенько он на это ответил:

— Зря ноги ломал. То же самое у них, что у вас. Даже хуже.

И больше от него ничего не добились. Потом, через много лет, как он уже давно семейным был, придумал переселиться в Новый завод. Его опять отговаривали, советовали:

— Сходи ты лучше на неделю, на две. Недалеко же тут. Поглядишь, тогда и решай, стоит ли переселяться.

Ионыча, однако, своротить не могли.

— Проходкой-то, — говорит, — пройдешь, ничего не разберешь. Всякое дело надо вприсест глядеть: пожить, поработать, потому дело у меня — не в бирюльки играть.

— Какое, — спрашивают, — у тебя там дело?

Ионыч от этого отворачивает:

— Раз дело не сделано, так что о нем говорить.

Переселился-таки. Ненадолго на этот раз. С год, не больше, там прожил. Как воротился, только и сказал:

— Какой там завод! Старым железом брякают, абы прокормиться. Вперед вовсе не глядят. Нестоящее дело. Много хуже здешнего.

Заводское начальство косилось на эти Ионычевы отлучки, а все-таки беспрекословно принимало его обратно в механическую. Руки, видишь, золотые, и к политике у Ионыча никакой приверженности не было, а в те годы это начальству всего дороже было.

В 1905 году в нашем заводе была большая забастовка. Четыре с половиной месяца тянулась. Не больно легко это рабочим досталось. Ионыч в ту пору от народа не отшатился, тоже работу вместе со всеми бросил, а на сходки, которые в то время часто бывали, не ходил. Пробовали его выбрать в делегаты от механической, так руками и ногами уперся.

— Увольте! Не могу, не умею, не по моей части.

А когда забастовка кончилась, ворчал:

— Шуму до потолка, а толку на два вершка. Выжали пятак — и осталось все так; спину гни и на то не гляди, куда хозяин твою работу раструсит.

Когда Февральская революция началась, Ионыч, видно, не больно этому поверил — у себя в углу отсиживался. После Октябрьской, когда у владельца завод отобрали, запошевеливался, стал на собрания ходить, сам заговорил. В

рабочем комитете часто советовал то, либо другое по заводскому делу. Недолго все-таки. Распорядок тогдашний ему не по нраву пришелся, — Ионыч опять и забился в свой угол так, что не вызовешь. Этаким сычом в дупле и просидел до гражданской войны. К тому времени я домой ненадолго заходил и своими глазами видел, как дальше с Ионычем вышло.

В заводе, конечно, отряд Красной гвардии был. В него я и поступил с первого дня приезде, а вскоре и командиром стал. Меня, видишь, по заводу знали по старой работе в прокате и то посчитали, что в армии за шесть-то лет военному делу научился. Вот и доверили.

Про то, как мы сперва работали, рассказывать не стану, но вот пришлось нашему заводскому отряду отступать. В числе других звали с собой Ионыча.

— Пойдем, а то худого дождешься. Все-таки ты коренной рабочий: тебе с нами держаться надо.

— Бестолковщины, — отвечает, — у вас много. Не верю я, что толк будет, да и старый я. Какой из меня вояка выйдет!..

Тут, понятно, разногласица пошла. Одни корили Ионыча: «Контра ты, коли от своих сторонись», другие грозили: «Пропишут тебе колчаковцы свою грамоту на спине!» Были и такие, что, вовсе строго поворачивали: «Что с таким разговаривать! Расстреливать предателей надо!»

Ионыч на все это одно отвечает:

— Делайте, как знаете, а я не пойду.

Так и остался. Сначала о нем иной раз и вспоминали, а потом, как рассыпался наш заводской отряд по ротам Красной Армии, кому до Ионыча дело? Вовсе о нем забыли.

О фронтовых наших делах много говорить не приходится. Всякий знает, что на уральском фронте дела шли из рук вон плохо. Климент Ефремович Ворошилов в своей статье разъяснил, из-за чего это вышло. Штаб был слабый, линия фронта растянута, тыл не обеспечен, надежных резервов не было, а снабжение названо отвратительным. Про нашу 29 дивизию в статье особо сказано, что она пять суток без куска хлеба отбивалась.

Нам, которые на передней линии были, не все это тогда было видно, но что резервов не имелось, мы хорошо знали, потому пятый месяц из боев не выходили. Худое снабжение тоже всяк видел: разуты, оборвались, патронов самым малым счетом, снаряды вроде гостинца к большому празднику, а

продовольствие — колючий пряник. Задолго до голодных-то дней нам стали выдавать по осьмушке фунта овсяного хлеба. Пятьдесят, значит, грамм. Вот и весь дневной рацион. Сейчас вспомнишь этот кусочек, который остями во все стороны расщерился, так не верится, что на нем месяцами держались. Ну, а у тех, у колчаковцев-то, совсем наоборот. Сыты они, обуты, одеты, оружия и патронов без отказа. Пособников иноземных у них, сам знаешь, много было. Из Англии, из Америки, из Японии им везли.

Понятно, что нам туго приходилось. Вдобавок зима выдалась ранняя, с глубокими снегами и крепкими морозами. Прямо сказать, погибель. По деревням, через которые отступать приходилось, кулаки зашевелились, зашипели, радуются: «Конец красным пришел!» Кто послабее духом, те, случалось, и отставали. Только были и такие, кто в эти трудные дни к нам приходил. Из молодых больше. Из стариков только те, у кого дети с нами были. Из-за этого и боялись оставаться.

И вот... Как сейчас это вижу... Задержались мы в одной маленькой деревеньке за Бисертским заводом. Накануне колчаковцы заседали на нас, да мы отбились. И ловко это вышло! Стреляли, видишь, из-за укрытия и урону порядком нанесли, а у самих только одного задело, да и то пустяковое ранение. Колчаковцы откатились, и нам весело стало: хоть малая, а победа. К тому же и погода помягчала. С вечера снег с ветром, а к утру ровный посыпался, и тепло стало. В сторожевом охранении куда вольготнее держаться, а посматривать надо в оба: под такой-то снеговой сеткой враг может незаметно подобраться. Проверил я посты и пришел в избу, которая у нас штабной считалась. Только пристроился отдохнуть, наказываю своему помощнику, а я тогда этими остатками роты командовал:

— Поглядывай! Того и жди — полезут. Да пулемет до поры чтоб не показывали!

Тут мне говорят:

— Товарищ командир! На линии задержали старика. Чудной какой-то. Не в себе будто. Болтает про наследство, а может, прикидывается. Поспрошай его сам: не подосланный ли.

Привели старика. Усатый такой. Шапка хорошая, валенки тоже, а одежда — обдергайчик легонький, какие под шубу надевают. Пригляделся — Ионыч это. А он меня, вижу, не признал. Да и не мудрено, потому как я в ту пору сильно бородой оброс. Некогда да и нечем скосить ее было. Начинаю спрашивать, как полагается: что за человек, из какой местности, чем занимается, каким путем пришел... Ионыч рассказывает о себе, что я и сам знаю. Говорит по чести.

— Почему, — спрашиваю, — одежонка такая легонькая и как ты в ней такую дальнюю дорогу прошел?

— Шубу, — отвечает, — в той деревне оставил, с которой воюете. Пришел вечер туда, забрался в одну избушку, а там одни женщины. Стал полегоньку спрашивать, как да что. Желал узнать, далеко ли вы. Женщины мне рассказали, что весь день стрельба была в таком-то месте, а к вечеру здешние воротились. Не могли, видно, одолеть ваших. Только это разузнал, в избу вошли двое и, не говоря худого слова, поволокли к своему начальству. Тот давай меня выспрашивать, что твое же дело, кто, откуда? Я ему сказался мотовилихинским рабочим. Ходил, дескать, своих навестить, а теперь домой пробираюсь. Начальник на это и говорит: «Скоро Пермь возьмем, тогда и разберемся, а пока отведите под караул». Привели в избу, а там шестероэтаких арестованных. Как дело вовсе к ночи пошло, караульный говорит: «Выходи, кому надо, только верхнюю одежду сними. Ночью выпускать не буду». Я и вышел с другими. Без шубы, конечно. А ночь темная, снег, да его еще подбивает. В двух шагах человека не увидишь. Я и решил, — попытаю свое счастье, коли и загину, так к своим ближе. Ну и ушел. Слышал, стреляли в белый свет. Всю ночь пропутался, а утром к вам и вышел. Продрог, конечно, а как видишь, живой.

Слушаю это и думаю: на правду походит. Потом спрашиваю:

— К нам зачем тебе?

— Желаю, — отвечает, — предаться советской власти.

— Как это?

— А так, чтоб душой и телом ей служить. Что знаю, что умею, что выдумал, чтоб все ей и никому больше.

Тут я не выдержал, говорю:

— Давно пора, дядя Ионыч.

Он это воззрился на меня, признал, конечно, и говорит:

— На это и надеялся, что до своих дойду.

Дальше у нас пошел простой разговор.

— Добили, — говорю, — видно, тебя колчаковцы, что кинулся советскую власть искать?

— Нет, — отвечает, — меня не задели пока, а подбираться стали, да еще кто! Помнишь, перед самой-то войной наш завод какой-то компании перешел? Сперва думали, большая перемена будет, а вышло незаметно. Приехал только один новый. По-нашему говорил плохо, а все-таки понять можно. И прозвание у него чужестранное. Хитсом вроде. В синей рубашке ходил. Сам, поди, видел?

— Видать, — отвечаю, — не доводилось, а слышать слыхал.

— Хитсом этот тогда многим нашим заводским против своего-то начальства поглянулся. Обходительный, видишь, не барничает и в техническом деле понятие имеет. Это я по своему делу заметил. У меня, видишь, пристроена была к станку одна штучка. Небольшое облегчение давала. Заводское начальство сколько раз мимо проходило, ни один не заметил, а этот углядел и давай доспрашивать: «Откуда взял? Давно ли? Какая польза?» С той поры, как придет в механическую, непременно ко мне подбежит, поздоровается и спросит:

— Есть какой нови?

Да еще моду взял кликать меня по-своему: мистер Енч.

Молодые ребята из механической это подхватили и давай меня этак навеличивать. Пришлось с ними по-сурьезному поговорить:

— Что, дескать, такое? Коли чужестранный человек коверкает наше слово, так ему это в большую вину не поставишь, а вы куда за ним скачете? Какой я вам мистер, коли по токарному делу мастер и вам в дедушки гожусь? И прозвание у меня русское, понятное. Какое ваше право его поворачивать на отрыжку после кислого квасу?

Усовестил-таки, урезонил — перестали.

Так вот этот Хитсом теперь опять на заводе появился. Ну, одет по-другому, и с ним больше десятка других людей. Которые в военной форме, которые в вольной одежде. Ходят по заводу, досматривают. Где какой непорядок заметят, — доискиваются, кто отвечать должен, а вечером, глядишь, колчаковские солдаты идут в те семьи и ответчиков уводят, а коли их дома не окажется, начинают семейных донимать. Тут и слепому ясно, кто у нас новый хозяин, кому колчаковцы служат. Надо, думаю, уходить к своим. Неважные, слышно, у них дела, а все-таки здесь оставаться негоже. Только это обдумал, а Хитсом и подкатил. Один приехал, без сподручных. Лебезит, будто знакомого нашел. Посидел с полчаса, поругал большевиков, что они завод разорили, похвалился, что скоро с ними покончат, и завод опять в порядок придет, а потом и закинул слово:

— Ви умейт летяши жук сделать?

«Вот, — думаю, — заглот какой! И про игрушку разнюхал, и ее подавай!» А сам отговариваюсь:

— Было это раз. Смастерил своему внуку забавку, да он давно ее потерял.

Поглядел на меня Хитсом волчьим глазом, потом спохватился, видно, давай опять ласково допытывать, кто, дескать, раз сделал, тому нехитро и другой раз это же сделать. Вынимает бумажник и достает деньги в задаток, а я, понятно, отказываюсь.

— Не в моем обычае деньги вперед брать... Мне неизвестно, выйдет ли, потому руки огрубели. Все-таки постараюсь, только не больно скоро.

Тут он давай рядиться о времени. Неделю я все-таки вырядил. А как выполз этот хитрый сом из моей избы, я в тот же день отправил старуху в Черемховку, будто гостить к Варваре, сам ворота на замок, ключ соседу отдал да по потемкам в город. Оттуда подъехал с товарным, пока не сняли, а дальше пешком пробирался. Не больно гладкая дорога оказалась, а все-таки добрался.

Весь этот разговор при людях шел. Некоторые спрашивать стали:

— Скажи, дедушка, о каком это наследстве говорил, когда тебя задержали?

А я прибавил:

— И про Абакан тоже.

— С него, — отвечает, — и начинать придется, потому с тех мест моя тропа пошла.

Тут Ионыч подумал маленько и стал рассказывать.

— С молодых лет я стою у станка. Тоже думаю, поди, о чем-то. Игрушка, за которой Хитсом потянулся, — пустяк. Немало и полезного по работе в голову приходит. А скажи — дадут тебе за это лишний рубль, а хозяину барыш пойдет. Какая мне от того радость? Выдумка ведь не даром далась. Тут слух прошел, что на Абакане старый казенный завод рабочая артель за себя перевела. Вот, думаю, где рабочую выдумку можно складывать. Сила будет. Не обидно в этот сундук и свое кровное отдать. Ну и пошел, а на деле не так оказалось. Завод старый, бросовый. Казна хотела вовсе его закрыть, да тамошние рабочие отстояли: сами, дескать, поддержим и поработаем еще. С первых же годов артель оказалась в долгу у купца Дуняхина, а тут песня известная: рабочие стараются, а купец раздувается. Плюнул я на эту

дуняхинскую веру, воротился домой, оженился, а покою мне нет. Донимает меня: как быть с рабочей выдумкой. Ведь всякий, если он по-настоящему в свое дело вникает, непременно придумает, как его сделать легче, скорее и лучше. Сколько такой выдумки! А куда она уходит?

Чаще это все за грош хозяину дарят, а он с нее рублями собирает. Бывает, конечно, что выдумку сыновьям либо другим наследникам по родству передают. В этих рассыпных наследниках тоже толку немного. Редко, видишь, сын по отцу пойдет, а когда и лучше окажется, так, может, маленько о другом думает. Глядишь, выдумка либо затеряется, либо в тот же хозяйский карман попадет. Выходит, так плохо и этак не лучше.

Вот я и ждал, не откроется ли где настоящий артельный завод, чтоб рабочую выдумку не в хозяйский карман совать и не по родне рассыпать, а в одном месте держать и дальше растить. Прослышал про артель в Новом заводе, туда переселился, да вышло хуже Абакана. Тазы, да ведра, да мелочь разная. Зааводом даже не пахнет.

Когда наш завод за рабочими объявили, обрадовался. Думаю, дождался-таки. Ну, духу не хватило. Испугался бестолковщины, а того не подумал, что поначалу всегда так бывает, а потом обойдется. Когда наши с завода уходили, меня с собой звали, а я, дурная голова, и тут отперся: стар, мол, для военного дела.

Ну, хитрый сом, который из-за моря в наш завод хозяином приплыл, меня и образумил. Понял, что завод, о каком у меня думка была, не пирог из печки на стол поставить: его надо самим сообща поднимать да сперва еще место для него накрепко огородить. А то живо какой-нибудь Дуняхин подстроится, либо, хуже того, чужестранный заглот объявится.

На том моя кривая тропа и кончилась, на большую дорогу вышел. Как бельма с глаз сняли. Теперь ясно вижу, что сперва надо отвоевать место, на котором сам рабочий хозяином станет. Хоть не молодой и к военному делу не привычен, а примите меня. Что могу, все сделаю, головы не пожалею. Выдумки в ней за годы немало накоплено, да некому эту выдумку передать, коли советская власть не устоит. От старого владельца ее ухранил, Дуняхину не продал, а Хитсому и подавно отдавать не согласен. Готовил, поди-ка, для своего кучевого наследника — для тех самых рабочих, которые у моего же дела стоять будут. У них, небось, она не затеряется, а в большой рост пойдет.

Поговорили мы еще с Ионычем про заводские дела: как там, кто пострадал от колчаковцев, кто им прислуживает, — а потом отправили его в тыл. Месяца через три видел на станции Верецагино. Там он в мастерской по ремонту

оружия на славу вышел. Ловкий, дескать, старик. При разборе сразу видит, что где исправить, и делает скорехонько. Да еще говорили... Тогда в ходу пулемет «Льюис» был. Жаловались, что его часто заедает. Так Ионыч какие-то самоточные шарики приспособил — и много надежнее стало. Не знаю я этих тонкостей, как сам всю жизнь у прокатного стана стою, а хвалили люди. Дальше об Ионыче долго не слыхал, только уж когда домой воротился, узнал от его семейных. Оказывается, погиб за Новосибирском. Проходил, сказывают, по заводу, оставляли его по старости лет, да он, как в обычае, уперся.

— Не согласен, — говорит. — Завод подождать может, а надо первым делом всех хитных сомов с нашей земли сбросить. Чтоб их и званья не осталось. Тогда дело горами пойдет, потому каждый для своего настоящего наследника стараться будет.

— А что ты думаешь, ведь правильно это Ионыч говорил. Смотри-ка, как пошло против прошлого! Верно, горами! А почему? Наука, конечно, действует, техника тоже другая. Ну, и копилка рабочей выдумки не отстает. При кучевом-то наследнике оно много значит: один придумает, другой добавит, третий подтолкнет, четвертый еще выше поднимет. Она и растет так, что со стороны дивятся.